

ЕВГРАФ ДОЛЬСКИЙ

СТРАНА МОИХ ОТЦОВ

ГЛАВЫ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО РОМАНА

Глава первая

ГОРОД, КОТОРЫЙ БЫЛ

Развалины большого провинциального города, имя которого теперь *Eram*, а по-русски – *Я был*. Иначе он и не может быть назван: его нет. Нет ни одной улицы, не превращенной в руины: кругом – груды камня, кирпича, щебня, застывших в предсмертных судорогах железных змей и мрачных коробок, когда-то называвшихся стенами дома. Все разрушено рукой человека и – чтобы подчеркнуть особенный трагизм, – разрушено оттуда, куда человек привык поднимать глаза в поисках чуда, – с удивительно прекрасного голубого июльского неба, оттуда, где слышится песня жаворонка и где птицы слагают хвалебные гимны творцу вселенной. Все взорвано и сгорело. Взрывы, которым предшествовал отвратительный, не забываемый до смерти вой падающих бомб, продолжались двое суток. Еще двое суток город горел. Не только ни одного ведра воды, но даже одной капли ее не было брошено на борьбу с ураганом огня и вот – города больше нет.

Снимите благоговейно ваши шляпы и склоните долу ваши скорбные головы:

– Город *Sum* умер. Пусть живет город *Eram*. Да возродится в ближайшем будущем более прекрасный город *Ero*.

От главной улицы – когда-то Большой Дворянской, а потом проспекта Революции, – прямого как стрела, украшенного двумя рядами деревьев, – остались асфальтовая мостовая, тротуары с вплавленными в них во время пожара кусками битого стекла и четыре ленты трамвайной колеи.

А где же дома?

Их нет. Только два на весь проспект (вы слышите, – только два!) дома случайно, непонятно как и почему уцелели: оба – дряхлые старики, насчитывающие за своей спиной по крайней мере сто лет. Раньше они ни разу не видели друг друга – десятки больших зданий отделяли их и мешали взаимной связи. Теперь, когда кругом все голо, когда даже деревьев нет, они могут перекинуться парой словечек и по-старчески пожаловаться на судьбу...

Все остальные на проспекте – руины. Руин сколько угодно и на какой угодно вкус любителей руин, – если вообще можно допустить существование такого дикаря, который считает себя любителем свежих, еще кровоточащих руин. Можно быть по-звериному жадным на руины и все-таки хватит пищи, чтобы удовлетворить самый ненасытный аппетит.

Неужели было время, когда всё это жило? Можно ли серьезно верить в то, что на самом деле было время, когда в эти двери без всякого страха входили счастливые, жизнерадостные люди – и старики, и дети, и даже только что давшие ребенку жизнь матери с драгоценной ношей в руках, и никто из них не называл дыру дырой, а считал, что это такие обыкновенные, такие примелькавшиеся, страшно прозаические двери. – Двери? – Что это за слово «двери»? Русское ли оно? Пройдите, пожалуйста, по всему проспекту и покажите нам, что это такое – «двери»? Не шутите... Это кладбище не место для шуток.

Неужели к этим безобразным, угрюмым, нагоняющим непроходимую тоску отверстиям, – не глазные ли это впадины в том черепе человека, который продается в магазинах учебных пособий? – неужели

ли к ним можно было подойти, протянуть руку и даже прижаться разгоряченным лбом к тому, что называется в этом отверстии «стеклом моего окна»? Может быть, это только плод большой фантазии, результат потери способности воспринимать вещи в их настоящем виде, что некогда эти свернувшиеся в диковинные узлы двутавровые балки были прямы, как линейка, и спокойно несли на себе тяжесть и полов, и потолков. Какой же великан и из какой именно детской сказки собрал свои могучие силы и связал эти балки в один узел? Может быть, его зовут *Огнем*? А может быть, *Огонь* только помогал, а великана звать как-нибудь иначе? А какой полусумасшедший шутник и тоже из какой сказки оторвал громадное железобетонное перекрытие, но оторвал по веселому характеру не целиком, а только с трех сторон, и теперь это перекрытие висит на арматурных стержнях, как театральный занавес? А кто он, как его зовут и на какой странице трудов братьев Гримм описаны подвиги того людоеда, который свалил на улицу целую стену многоэтажного дома? Одну стену свалил, похоронил под нею соседний домишко и на этом успокоился, так как спешил к другим домам, к другим жертвам своего людоедско-го веселья.

Кто танцевал на этих развалинах мрачный танец смерти? Кто они, эти таинственные музыканты, под аккомпанементы которых шло разрушение и превращение глагола *Sum* в глагол *Eram*?

Бедный, бедный город! Маленькая жертва того, что называется словом «война»! А если пройтись плугом по твоим улицам, если дать времени сделать свое дело, – вспомнит ли кто-нибудь о тебе?

На улицах, пересекающих проспект и вливающихся в проспект, то же самое: они не существуют. Если остался один дом – хорошо; если осталось два – отлично, но если вы насчитали три – проверьте еще раз, – нет ли здесь ошибки? Царство руин любит ширь и простор.

Город стоит на высоком берегу реки. По склонам его гор идут второстепенные и третьестепенные улицы, переулки, тупики и закоулки. Они были застроены одноэтажными и двухэтажными домами, а чаще не домами, а домиками с тремя окнами на улицу и входной дверью со двора. Десятки таких домиков тонули в шатрах зелени: деревья склоняли свои ветви и на улицу, и во двор, и вокруг домиков, и кругом было так тепло, так уютно, что хотелось остаться в таком раю на всю жизнь. Цвела черемуха, цвела сирень, цвели кусты роз, цвели во дворах и садиках целые ковры неприхотливых однолетних цветов... Цвели вишневые деревца, склоняли свои ветви посаженные еще прадедом яблони, само небо благословляло это самое благословенное местечко человеческого отдыха после многотрудного рабочего дня... Кто же именно, зачем, с какой целью сжег добрую четверть этих домиков, оставив на месте недавнего уюта только почерневшие печные трубы?



Верхняя часть города со стороны реки (художник В. В. Богаткин). 1943 год.
Из собрания Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского



Разрушенные дома на улице Плехановской (художник В. В. Богаткин). 1943 год.
Из собрания Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского

Чей грязный сапог растоптал цветы и безжалостно вырвал розовые кусты? Кому мешали эти деревья, эти скамейки у ворот, эти низенькие заборы, эти дряхлые от времени сарайчики и голубятни?

Да... Доброй четверти домиков нет... И одновременно нет почти ни одного дерева. Очевидно так надо по логике: нельзя подавать панораму руин в рамке цветущей зелени; рамка из печных труб – это более понятно и более подходит.

А то, что было внутри здания? Где книги, картины, рукописи, труды поколений? Где то маленькое, но безгранично дорогое, что собиралось в семьях и нередко так трогательно переходило от поколения к поколению? Где тот стул, на котором любил сидеть еще прадедушка? Где та такая уютная книжная этажерка, с которой вы могли даже в темноте снять любую интересующую вас книгу? Где кровать вашего ребенка?.. Или, может быть, вы любили коллекционировать? У вас были альбомы? Вы сами сделали радиоприемник? Вы украшали стены вашей квартиры картинами и так часто выслушивали заслуженные упреки вашей жены, когда вместо нового костюма приносили из универсального магазина пачку новых грампластинок? Зачем же вы так заботились о том, чтобы у вас в квартире было так уютно, так хорошо и чтобы все успокаивало и ласкало ваш глаз? Не смешно ли, что всего несколько месяцев тому назад вы серьезно, глубокомысленно обсуждали на семейном совете, какими именно обоями надо оклеить стены вашей столовой? Неужели и правда вам нужно было то самое пианино, которое

вы приобрели ценой трехлетних визитов в сберегательную кассу, то самое пианино, от которого огонь не оставил ни одной струны, ни одной из клавиш? Значит, правда ценности создаются для того, чтобы быть уничтоженными, и чем эта ценность выше и культурнее, тем больше точит на нее зубы гений разрушения?

Дыхание смерти всюду. Даже кладбище пережило общую судьбу: сколько вывернутых, изломанных решеток, сколько разорванных памятников, сколько ям... Смотреть больно.

Но ни вой падающих бомб, ни гром разрывов, ни шум развороченной и брошенной во все стороны земли, ни гул моторов воздушных кораблей смерти не потревожили мирный, вечный сон мертвецов. Так же тихо лежат они в своих истлевших гробах после бури, как лежали до нее, но нету слов, чтобы выразить то, что закипает на душе у того, кто проходил по городу мертвых. И трудно сказать, что именно есть на самом деле город мертвых: те ли могилы, мимо которых проходит живой человек, или те могилы, из которых вылетели корабли смерти.

Кладбище – город мертвых, – пусть так. Но сам город – только мертвый город. Никто не хочет воскресать первый, и тысячи человеческих рук работают, чтобы вернуть жизнь второму.

Совсем недавно город был окружен заводами, фабриками, элеваторами. Совсем недавно призывные гудки приглашали на работу десятки тысяч трудящегося люда, старых и молодых, мужчин и женщин, шедших на работу с песнями и гармоникой,

шедших серьезно, как идут в аудиторию, ехавших поездами, на трамваях, на автобусах, спешивших и рассчитывающих каждую минуту, чтобы не опоздать к началу трудового дня. Совсем недавно дымились трубы, шумели станки и моторы, далеко слышался лязг железа, совсем недавно все это жило ради счастья жизни, ради права на жизнь. И все это остановилось: трубы не дымят, станки исковерканы, сложные машины изуродованы... Паутина, грязь, пепел, пыль и могильная тишина. Кладбище! Пока. Но это клад-

бище должно ожить, и оно оживет... Пусть только уйдут они, – разрушившие, – и оно оживет...

А что это? Верить ли глазам? По проспекту, занесенному снегом, бежит заяц! Нет, этого не может быть! И все-таки он бежит по пустынному проспекту...

А всего год тому назад...

Только один год тому назад город *Eram* был городом *Sum*.

Войдем же в этот город весной тысяча девятьсот сорок первого года.

Глава вторая

УНИВЕРСИТЕТ

Прежде всего надо дать самому городу какое-нибудь название. Пусть он называется *Грачевск*. Итак, действие происходит в городе Грачевске, где-то западнее Уральских гор и где-то восточнее Карпат. По-видимому, при таких точных данных определить истинное географическое положение Грачевска – дело совсем легкое.

Грачевску больше трехсот лет. Он уже жил в те дни, когда Петр Первый брил своим верноподданным бороды, но памятников старины в нем почти что нет. Свою седую старину Россия не любила и не умела сохранять даже в столицах и поэтому никак нельзя упрекнуть Грачевск в том, что у него не было своих музейных достопримечательностей. Обыкновенно провинциальные русские города имели в

своей хронике такие реабилитирующие их строки: город горел несколько раз дотла и затем снова восстанавливался. В хронике Грачевска не было даже этих успокаивающих строчек: если город горел, то горел на окраинах, а если памятники старины уничтожались, то не огнем. Что же касается старых зданий, то их в Грачевске было достаточно.

Самым старым, самым мрачно-массивным зданием было здание Грачевского государственного университета. Раньше здесь помещался кадетский корпус, но и тогда это было уже самое старое и самое мрачное здание. На всех трех этажах сводчатые перекрытия давили низкие, узкие и темные коридоры, освещавшиеся одним только окном, не игравшим почти никакой роли, потому что коридоры



Главный корпус ВГУ. 1941 год

были перегороджены чуть ли не десятком застекленных стенок. Внутри здания было всегда холодно, и каждому входившему впервые в его стены хотелось, как можно скорее выбраться наружу и никогда больше не заглядывать в этот каменный мешок. Даже большой актовый зал с театральными подмостками, несмотря ни на свою мишуру, ни на легкие потолки, ни на громадные люстры – не мог рассеять впечатление, что вы находитесь именно в мешке, что вы обложены кругом камнем, что стены, толщиной в четыре кирпича, никогда не выпустят вас наружу.

Если вы попадали в большие светлые комнаты, то окна непременно выходили на север, были холодны и напоминали какой-то сарай: хотелось поставить перегородку, прибавить мебели или вообще сделать что-то такое, что в корне переменяло бы лицо этой комнаты. Коридоры кричали – дайте нам света, комнаты кричали – дайте нам тепла, а всё вместе угрюмо молчало, и в те часы, когда в университете не было ни одного студента, по коридорам было неприятно ходить, а в комнате не хотелось находиться.

Всё это можно легко понять, пока в этом мраке обитал кадетский корпус, но когда в нем жил университет, то так и подмывало взять все это здание и



Уголок читального зала
Фундаментальной библиотеки ВГУ. 1940 год

вывернуть его, как перчатку, наизнанку, хорошенько просушить и проветрить его, чтобы тысяча студентов, ежедневно наполняющих и коридоры, и аудитории, и лаборатории, почувствовали больше тепла и света.

Правда, всё это никак не мешало тому, чтобы в лабораториях велись большие и учебные, и научно-исследовательские работы нередко мирового значения; чтобы профессоры читали в неудобных, казармоподобных аудиториях увлекательные лекции, во время которых стояла такая тишина, что крысы теряли ориентировку и, выбравшись на свет божий, увеличивали население аудитории на полдюжины персон; чтобы в кабинетах заведующих кафедрами создавались, обсасывались и уютжились новые диссертации на самые животрепещущие темы; чтобы коридоры согревались заразительным, жизнерадостным смехом молодых и старых студентов и студенток; чтобы лучистый взгляд искрометных глаз уже успевших влюбиться друг в друга парочек согрел и эти стены, и эти потолки; чтобы наконец люди смогли привыкнуть и забыть, что кругом них камни и кирпич...

Самым же мрачным, почти темным, особенно холодным и на редкость неудобным уголком этого мрачного, темного, холодного и неудобного здания было книгохранилище, помещавшееся на верхнем этаже и примыкающее к библиотеке и читальному залу. Чтобы быть еще мрачнее, книгохранилище приобрело какой-то особенный запах, одуряющий и способный выкурить даже крыс. Несколько следующих одна за другой комнат были завалены книгами и рукописями, которых было так много, что для них не хватало полок. Поэтому целые груды сокровища человеческой мысли лежали на полу, в полном хаотическом беспорядке, причем никто не обращал внимания на то, что рядом с «Механикой» Эйлера лежал том стихотворений Тютчева. Несколько лет библиотечный штат терпеливо копался в этой свалке, что-то систематизировал, что-то ставил на полки, что-то выносил в библиотеку общего пользования, но сколько люди ни копали, ни рыли, – кучи и не думали уменьшаться. Если говорить откровенно, то для любителя редких книг и давно затерявшихся уникалов печатных и рукописных не было большего удовольствия, как рыться в этих кучах: всегда можно было ценой головной боли и простудного кашля откопать что-нибудь такое, отчего задрожали бы руки и не шутя закружилась бы до обморока голова...

Обстоятельство это не должно никого удивлять по той простой причине, что еще с времен войны четырнадцатого года Грачевский университет несколько раз пополнялся ценными книжными коллекция-

ми, вывезенными из западных городов, попадавших в зону военных действий, а начиная с восемнадцатого года университетские катакомбы были центральным хранилищем почти всех частных библиотек Грачевской области, славившейся в старое время большими любителями старой книги. Поэтому здесь можно было откопать литературу всех стран света и всех веков начиная с семнадцатого века, поэтому не было почти ни одной отрасли знаний, на которую не нашлось бы хорошей кучки уникамов, давно пропавших из поля зрения самых страстных коллекционеров исчезающих из общения книг.

И над всей этой сокровищницей человеческой мысли, над всеми этими кучами нужных и ненужных, бесценных и не имеющих никакой цены книг и рукописей, конечно, был верховный главнокомандующий и зоркий опекун в лице главного библиотекаря. Эту почтенную должность с честью и славой несла особа женского пола в возрасте между тридцатью и сорока годами, по внешнему виду чрезвычайно похожая на футбольный мяч, или, говоря несколько математическим языком, полностью вписывающаяся в шаровую поверхность, радиус которой крайне невелик, но, безусловно, отличен от нуля. Если поставить геометрическую задачу так: дана сфера, и в нее вписана Наталья Петровна Карасубазарова вместе с ее прической, пудреницей и зеркалом, – вычислить объем пустого пространства между этими двумя объемами, то ответом будет величина, начинающаяся с нуля целых, трех нулей после запятой и кончающаяся однозначной цифрой кубических сантиметров. Не подлежит сомнению, что некогда этот верховный главнокомандующий был довольно-таки миловидной особой, способной вскружить не одну голову и поэтому надо только удивляться, что во всех анкетах в графе «замужняя или вдова» Наталья Петровна неизменно писала «девица».

Как и все реальные шаровые поверхности, Наталья Петровна отличалась крайней подвижностью. Казалось, что коэффициент ее трения качения равен нулю. Вся принадлежащая ей командованию и опеке территория видела ее по меньшей мере тысячу раз в день. Причем иногда бывали такие обманы зрения, что находились свидетели, видевшие Наталью Петровну одновременно в двух и даже трех местах.

Как и всякий верховный главнокомандующий, Наталья Петровна имела при себе свою Тень, своего адъютанта, словом, человека, неразлучно следовавшего по ее пятам. Такой Тенью была мадам Грибанова, даже в возрасте до шестидесяти лет, угрюмая, молчаливая, улыбающаяся только раз в десять веков. Надо поражаться и верить в чудеса, в возможность существования невозможных вещей,

чтобы примириться с тем, что было на самом деле: Тень умудрялась не отставать от Натальи Петровны и всегда быть по правую ее руку в тот момент, когда Наталья Петровна, не оборачиваясь и не прислушиваясь к ее шагам, бросала ей какой-нибудь вопрос. В противоположность своей патронессе мадам Грибанова похоронила трех мужей и сейчас в ее скромной комнатке одного из подвальных этажей домирал ее четвертый муж.

Все четыре мужа мадам Грибановой были исключительными людьми. Все они были князьями. Правда, князьями церкви, иначе говоря, – архиереями разных церквей; но все же князьями. И последний, домиравший муж целых два года вкушал удовольствие именоваться епископом живой церкви, а потом, оставшись без паствы и пастырей, спокойно перешел на мирское житие в комнате мадам Грибановой.

Приведенная маленькая подробность из жизни Тени нужна только для того, чтобы стало ясным, почему студенты часто называли мадам Тень иногда просто княгиней, а иногда княгиней Свистуновой. Последнее оправдывалось тем, что княгиня имела своеобразную привычку в некоторых случаях жизни при глубоком вздохе издавать звук, напоминающий свист какой-то несуществующей птицы.

Библиотеку ежедневно посещали сотни студентов и десятки профессоров и преподавателей. Но в книгохранилище редких и неразобранных книг заходило очень немного: студентам и младшим преподавателям вход в нее был вообще запрещен, а из профессоров и доцентов наиболее упорным и почти ежедневным посетителем книжного кладбища был молодой доцент Александр Николаевич Вергулев – по всем признакам многообещающий научный работник, уже несколько лет собирающий материал для докторской диссертации.

Это был совсем молодой для будущего доктора математических наук человек. Ему было только двадцать шесть лет, хотя по внешнему виду, по манере держать себя, по привычкам и вкусам он производил впечатление человека, возраст которого близок к сорока годам. Лицо у него было, скорее, прямоугольное, чем криволинейное, нос большой, мясистый, губы толстые, подбородок почти квадратный, а темные, почти черные глаза очень часто напоминали, что владелец их человек большой силы воли, настойчивости и упрямства. Глядя на Вергулева, можно было уверенно сказать, что если этот человек решит что-нибудь сделать, то сделает непременно, чего бы это ему ни стоило, умрет, но сделает. Вместе с этим было видно каждому, что это очень спокойный, медлительный и даже несколько вялый

человек. Никто ни разу не видел его раздраженным, вышедшим из своего обычного состояния невозмутимого спокойствия или давшим волю какой-либо нервной вспышке. Никогда ни один студент не видел его в каком-нибудь ином состоянии, кроме полного равнодушия ко всему, что происходило вокруг него. Будучи медлительным в движениях, он был также медлителен в речи и особенно в принятии каких-либо решений, все равно – важных или не важных. Даже прежде чем обмакнуть перо в чернильницу, думал о чем-то не меньше минуты. Никто не мог упрекнуть его ни в одном неблагоприятном поступке. Он не принимал участия ни в каких склоках, никогда ни о ком не сплетничал, ни о ком не говорил за глаза, чего не сказал бы в глаза. Правда, никто не видел его кроме университетских стен и поэтому никто не мог сказать, каков он в личной жизни, но и заочно, так сказать, теоретически все характеризовали его как человека, не делающего гадостей. В университет он приходил к девяти часам утра, а уходил нередко, особенно в те дни, когда работал в книгохранилище, в поздние вечерние часы. Жил он далеко от университета, в бывшем до революции мужском монастыре, в одном из старинных флигелей, в котором некогда помещались архиерейские покои. Монастырь этот стоял над рекой, был обнесен двухсотлетней оградой и не имел ни одного привлекающего к себе качества. Напротив, он был ветх, холоден, стар и едва-едва сопротивлялся всепокрушающей руке бога Времени. Это было большой странностью Вергулева: жить в монастыре, когда дирекция не один раз предлагала ему благоустроенную квартиру в центре города. Но Вергулев отвечал очень просто: я уже успел привыкнуть, к тому же у нас очень тихо, – и этот ответ звучал и искренне, и правдиво.

В Грачевске Вергулев появился только два года тому назад. Из его документов следовало, что он родился в пятнадцатом году в Петербурге, в семье какого-то чиновника, окончил среднюю школу в родном городе и поступил в Ленинградский университет, через два года перевелся в самый отдаленный сибирский университет, который и кончил в тридцать шестом году. Где он был год по окончании высшей школы, из документов не было видно, но в тридцать седьмом году он уже работает ассистентом при кафедре математики в небольшом юго-западном сельскохозяйственном институте. Проходит только два года, и он появляется в Грачевске уже кандидатом математических наук, защитившим диссертацию в одном из центральных университетских городов. Эти крайне отрывочные сведения из общественной жизни Вергулева можно было узнать только из его документов, но сам он не любил говорить о себе и всегда отклонял попытки товарищей узнать от него подробности его прошлого. Судя же по настоящему, по тому, что было видно в стенах Грачевского университета, прошлое Вергулева было такое же спокойное, серенькое, такое же, как и его настоящее. Если характеристика «человеку нечего рассказать о себе» может быть исчерпывающей, то всем сослуживцам Вергулева казалось, что эта характеристика исчерпывает Вергулева полностью. В заключение надо отметить, что успехом у женщин Вергулев не пользовался, но, говоря беспристрастно, сами женщины не пользовались у Вергулева никаким успехом: он ими не интересовался и никто не видел его ухаживающим или добивающимся победы над какой-нибудь женщиной. Он не избегал женщин, но в его обращении с ними было что-то такое, что расхолаживало женщину и парализовало в ней желание



Общежитие ВГУ № 6. 1938 год

понравиться этому слишком уж спокойному и равнодушному ко всему человеку.

И только одной женщине хотелось добиться победы, только одна женщина хотела видеть у своих ног, у своего очага этого молодого ученого: такой исключительной женщиной была верховный главнокомандующий университетской библиотекой. При всех обстоятельствах она не отчаивалась и верила в то, что и невозможное нередко бывает возможным, надо только терпеливо ждать и сделать всё возможное для победы. Всё возможное! Эти два слова она повторяла ежедневно: с ними она просыпалась, с ними носилась по своей библиотечной республике, с ними она засыпала.

Никто, даже ее Тень, – лицо, доверенное во всех житейских делах, не знала о том, для кого бьется маленькое сердечко, заключенное внутри шаровой поверхности! Будучи жизненно неопытной в любовных делах, не имея никакой практики в стратегических действиях против мужского сердца, Наталья Петровна ежедневно начинала себя теоретическими знаниями, которые жадно черпала из романов старых писателей, или, как она говорила, писателей, писавших с буквой ять. И все русские, французские и особенно сентиментальные немецкие романы почти всегда повергали ее в пучину отчаяния. Точно сговорившись, все они доказывали, что верховного главнокомандующего ждет не победа, а поражение. Но, как бы ни был мрачен теоретический прогноз, Наталья Петровна не падала духом: и невозможное бывает возможным, и поэтому надо сделать все возможное для победы. Наконец, почувствовав себя несколько подготовленной для открытия кампании наступления на противника, Наталья Петровна решила сделать первый артиллерийский выстрел по мирным позициям своего равнодушного избранника.

И поэтому, когда в один из мартовских дней сорок первого года (влияние наступающей весны и здесь сыграло очень большую роль) Вергулев проходил в книгохранилище мимо письменного стола главнокомандующего, – а в эти свалки можно было с некоторых пор прийти только этим единственным путем, – то, как ни невнимателен, как ни равнодушен был Вергулев ко всем расставляемым ему капканам, он не мог не заметить того, что на этот раз верховный главнокомандующий блестит и мундиром, и орденами, и регалиями. Волоса библиотечной владычицы были завиты по самой последней моде, и хотя прическа была и не к лицу и старила Наталью Петровну, но не обратить на нее внимания было нельзя. Лицо ее сияло солнечным блеском, и если кое-где краски были не особенно натуральны, то это надо было отнести только за счет красок, но ни в

коем случае не за счет художника. Костюм, плотно облегающий шаровую твердость, так и просился на обложку самого модного женского журнала и тонко выделял всё, что требовалось выделить, и прятал всё, что требовалось спрятать. И само собою разумеется, для того, чтобы всё это бросилось в глаза и произвело соответствующее опустошение в лагере противника, для того, чтобы контраст между прозой и поэзией был подчеркнут самой жирной линией, как декоративное украшение сзади полководца помещалась ее Тень, на этот раз особенно мрачная и исключительно непривлекательная.

В свой обычный час Вергулев входит в библиотечный зал, рассеянно смотрит по сторонам, замечает сидящих в уголке ректора и его личного секретаря, подходит не спеша к ним, что-то говорит, отвечает на какие-то вопросы, пожимает почему-то плечами и затем медленно шествует в сторону письменного стола.

В тот самый момент, когда этот возмутительный человек только-только показался в дверях, – момент, которого Наталья Петровна ждала больше часа, хотя Вергулев не опоздал ни на минуту, – в этот момент душа библиотечной царицы наполняется радостью, сердце начинает бить во все барабаны тревоги, а всё ее существо тянется туда, к нему, такому недостойному, такому слепому! Но в то же самое время лицо ее становилось таким равнодушным, таким безразличным, что даже было страшно: не начнут ли с него сыпаться высохшие краски. Можно подумать, что Наталья Петровна всеми своими помыслами ушла в изучение табель-календаря на текущий год, который она держит чуть-чуть дрожащей рукой по неизвестным причинам кверху ногами. Вергулев идет медленно. Он идет до того медленно, что так и хочется приказать Тени пойти и дать ему в спину хорошего шлепка. Но все имеет свой конец, все непременно когда-нибудь должно кончиться. Вот... вот... Вергулев уже в пяти, уже в трех шагах... Неужели и на этот раз он пройдет мимо, ограничившись глупейшим, никому не нужным пожеланием доброго утра?

Нет! На этот раз счастье улыбается главнокомандующему. Может быть, артиллеристская подготовка тому виной, может быть, это вызвано тем, что вдруг неожиданно для всего зала Тень издает особенно громкий свист, но только Вергулев останавливается, поворачивает голову в надлежащую сторону и приветливо улыбается.

– Доброе утро! – говорит он, кладя на стол свой набитый неизвестно чем портфель и протягивая не спеша руку Наталье Петровне, только что оторвавшейся от искушения продолжать изучение табель-календаря.

– Доброе утро, Александр Николаевич, – приветливо отвечает Наталья Петровна. (По теории русских и иностранных журналов в этот момент следовало бы произвести несколько выстрелов из искрометных очей, но Наталья Петровна никак, никак не может решиться на эту операцию.)

– Вы сегодня исключительно нарядны, – говорит Вергулев и – это уже совсем чудо, – опускается в стоящее по другую сторону письменного стола кресло, – не именинница ли вы сегодня?

Как ни слаба Наталья Петровна по части практических мероприятий, но она сразу же понимает, что надо немедленно оправдаться и как можно проще объяснить перемену своего обычного, рабочего вида.

– Я не именинница, – стараюсь быть совсем естественной, отвечает та, – но я думаю сегодня прямо после занятий пойти в гости к одной из своих приятельниц.

– Это хорошо... Надо только пожелать, чтобы вы почаще ходили после занятий к приятельницам.

– Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, – скромно отвечает Наталья Петровна.

– Фьють! – неожиданно раздается за спиной свист Тени, но на него не обращают внимания ни Вергулев, ни Наталья Петровна.

– Я хочу сказать, – после некоторой паузы произносит Вергулев, – что сегодня вы нарушаете общий ансамбль этого не особенно привлекательного помещения.

– Да, – с небольшим вздохом произносит Наталья Петровна, – этому помещению нужен капитальный ремонт. (Боже мой, – думает она, – что я говорю! И продолжает). – Я уже два раза подавала ректору и смету, и заявку... (Остановись же, не то надо говорить!)... Но все без толку...

Вергулев спокойно осматривает стены, потолок и вяло бросает:

– Вы правы. Здесь нужен хороший ремонт... Какие-нибудь веселенькие масляные краски... И солнца бы побольше. Но для этого надо повернуть все здание вокруг оси градусов на шестьдесят... Ну, не буду вам мешать...

– Что вы, что вы! Вы не мешаете мне нисколько.

Вергулев смотрит на висящие на стене часы, сверяет время со своими карманными и произносит:

– Ваши отстают на минуту. Я проверял свои по радио.

– Вы все еще не разочаровались в этом ужасном книгохранилище? – интересуется Наталья Петровна, думая только об одном, чтобы Вергулев еще несколько минут посидел в кресле.

– Я думаю, что мне потребуется еще много времени, прежде чем я разочаруюсь. Хотя, – разочаруюсь

я или не разочаруюсь, не все ли равно, где именно работать? Правда, там очень уж неудобно, сыро... Но и в другом месте может быть то же самое.

– Я часто называю вас мучеником науки, – серьезно замечает Наталья Петровна. – Надо так любить науку, как любите ее вы, чтобы отваживаться на ежедневное посещение этого холодильника... Бр-р-р... Как там холодно и какие там крысы... Да, написать докторскую диссертацию – дело нелегкое...

– Согласен с вами. У меня она продвигается крайне медленно.

– Еще бы! Надо собрать столько материалов!

– Да. Материалов надо собрать много.

– Но неужели вы до сих пор не нашли в этих кучах ничего полезного для себя? Я это спрашиваю только потому, что вы до сих пор не взяли из тех книг ни одной на дом?

– Пока поиски безрезультативны. Но я не отчаиваюсь. С другой стороны, если даже я ничего не найду, это тоже пойдет на пользу моей работе, – значит, действительно, в моей теме я не имею предшественников. Согласитесь, что это очень важно?

– О, да, да! – спешит согласиться Наталья Петровна, – это чрезвычайно важно быть Христофором Колумбом.

– Положим, Америки я своей работой не открою...

– Не скромничайте! Все мы считаем вас таким талантливым, что никого из нас не удивит, если вас выберут в академики.

Вергулев поднимает глаза и некоторое время смотрит в упор на перегнувшую палку собеседницу. Дождавшись, когда она начинает осознавать, чтохватила через край, он говорит:

– Конечно, вы пошутили.

– Может быть, – слабо защищается Наталья Петровна, – я не точно выразила свою мысль. Я хотела сказать, что когда наступит время и вас выберут в академики, то никто из нас не удивится. Я думаю, что это особенно лестно – быть академиком?

– Еще бы. Но для этого нужно мировое имя.

– У вас оно будет!

– Вы говорите это так уверенно, что мне даже неловко.

– Поверьте мне, что я выражаю общественное мнение, которое считает вас восходящей звездой нашего университета.

– Наталья Петровна, пощадите!

– Уверяю вас! Это искреннее убеждение всех нас. Подумать только, в двадцать шесть лет, – ведь вам двадцать шесть? – уже быть кандидатом, вести самостоятельно курс, писать докторскую диссертацию, нет, это никак не рядовое явление.

В это время внимание ее отвлекается появлением около стола выдачи книг молодого человека, издали приветливо улыбающегося в сторону письменного стола.

– Очаровательный юноша, – замечает Наталья Петровна.

– Совершенно верно, – соглашается Вергулев. – Вот кому следует передать высказанное вами на мой счет мнение. Чрезвычайно многообещающий человек. Математик от рождения. Что-то поражающее. Этот человек у нас долго не задержится. И представьте себе, совершенно не хочет ничего писать. На ходу, в уме решает сложнейшие математические задачи, на ходу хватая быка за рога, а писать ничего не хочет. Я уже несколько раз говорил с ним об этом, стыдил его, внушал, – как мячом от стены... И слушать не хочет. Вот как люди распоряжаются данными им талантами.

– Скажите, пожалуйста! Вот уж никогда бы я этого не подумала. Хотя вы, кажется, начинаете понемножку сближаться с ним, – может быть, вам удастся что-нибудь сделать.

– Сомневаюсь. Что-то безнадежное. Читает только романы, увлекается Жюль Верном, Майн Ридом... В его годы пора бы уже поставить Жюль Верна на заднюю полку.

– А сколько ему лет?

– Двадцать.

– Совсем еще мальчик.

– Ну да. Он шестнадцати лет поступил в Московский университет, блестяще окончил его, говорят, что несколько кафедр спорили за честь оставить его при университете, а он приехал к нам. Боюсь, что, если он не будет пахать, так и умрет ассистентом. Он у нас работает второй месяц и зарекомендовал себя пока только футбольными талантами. В футболе он действительно произвел большую сенсацию.

– Но ведь он непосредственно подчинен вам. Вы могли бы...

– Он подчинен не мне, а кафедре.

– А кафедрой заведуете вы.

– Я исполняю временно обязанности. Новый заведующий кафедрой придет не сегодня – завтра и поэтому никакого административного воздействия я не имею права делать. По-товарищески – это дело другое. Мне не нравится, мне хочется отвлечь его от футбола к математике, но пока я успеха не имею. Сейчас пытаюсь использовать последнее средство. Ему дали очень неудобную комнату в студенческом общежитии: на четвертом этаже, около умывальника, на северной стороне, – словом, очень неважную комнату. Вчера я предложил ему прекрасную комна-

ту в моей квартире. У меня три комнаты – для одного человека это ненужная роскошь.

– Как это великодушно! – восклицает Наталья Петровна. – И что же он? Конечно, согласился?

– Нет. Он попросил разрешения подумать.

– Чего же ему еще надо?

– Его смущает то, что я живу, как вам может быть известно, за стенами монастыря. Кругом меня большие разрушения... Но зато очень тихо. Чудесный вид на реку. Комната, правда, со сводчатыми потолками, на окнах железные решетки, но зато тихо, очень тихо.

– И поэтично.

– Конечно. А самое главное, вся обстановка, стены, наконец, то, что видно их окна, все это располагает к работе.

– Немножко далеко.

– Что значит для молодого спортсмена какие-нибудь лишние полкилометра? Но я не теряю надежды, что мне удастся уговорить его переселиться ко мне. Это было бы удобно и в хозяйственном отношении. Там есть женщина (при этом слове Наталья Петровна невольно настораживается, а ее Тень неожиданно освежает воздух небольшой несоловьиной трелью), симпатичная старушка (а! легче!), которая будет готовить обед на нас двоих...

– А трудно холостому? – чуть-чуть кокетливо интересуется Наталья Петровна. – Неудобно?

– Я еще не был женатым, так что не могу ответить, как это трудно и неудобно, – отвечает Вергулев и поднимается с кресла, – но, конечно, если забота об обеде, белье, уборке находится в других руках, то, конечно, жить легче.

– Рука жены – надежная рука.

– Я думаю, что вы правы, – медленно произносит Вергулев и берет в руки портфель.

Но здесь совсем неожиданно Тень разворачивает уста и вещает:

– В книгохранилище с портфелем ходить нельзя.

– Почему? – быстро спрашивает Наталья Петровна.

– Почему? – после некоторого раздумья интересуется Вергулев.

– Правило, – отвечает Тень.

Вергулев делает попытку положить портфель на стол, но Наталья Петровна решительно отвергает ее.

– Нет правил без исключений, – произносит она. – Если Александр Николаевич берет с собой портфель в книгохранилище, значит, Александру Николаевичу для его научной работы необходимо иметь около себя портфель. Я очень прошу вас, Александр Николаевич, – спокойно берите портфель.

Вергулев некоторое время молчит, что-то обдумывает и затем спокойно отвечает:

– Благодарю вас. Действительно, мне с портфелем удобнее работать. Кроме того, здесь мой завтрак.

Он делает попытку раскрыть портфель, но Наталья Петровна решительно останавливает его:

– Что вы, что вы! Зачем! Не надо!

После этого Вергулев жмет ее руку и не спеша следует в холодильник. Как только дверь за ним закрывается, Наталья Петровна укоризненно качает головой и, не поворачиваясь, говорит по адресу Тени несколько нелестных слов. Тень выслушивает их с величайшим хладнокровием и ограничивается в ответе одним словом:

– Правильно.

– Но неужели вы не понимаете, что вы по существу высказали предположение, что Вергулев может украсть книги? И зачем ему их красть, когда он может без кражи взять сколько угодно книг? Нет, нет, я просто не ожидала от вас такой не деликатности.

Тень пожимает плечами и не находит нужным что-либо возразить на это. Вместо ответа она ограничивается легким свистом. Но несколько минут спустя она произносит:

– Однако некоторых книг мы не нашли в книгохранилище.

– Да, не нашли, – нервно отвечает Наталья Петровна. – Что вы хотите сказать этим? Что вы подчеркиваете?

– То, что они были, а теперь их нет.

– Но не скажете же вы, что их унес Вергулев?

– Я скажу, что их унес кто-то.

– Но Вергулев не кто-то!

– Книги очень редкие. Представитель Москвы оценил одну из них в три тысячи рублей.

– Вы положительно хотите возвести обвинение на Вергулева.

– Я хочу сказать, что после того, как книги пропали, ректор запретил вход в книгохранилище с портфелем.

– Но вы должны согласиться, что в книгохранилище ходит не один Вергулев, а замечание вы сделали одному ему. И, наконец, я не верю, что книги пропали. Просто мы их не тщательно искали, и они лежат где-нибудь на дне.

– Нет, не лежат. Они пропали.

– Вы неисправимы. Это моя обязанность следить за выполнением правил, и я прошу вас больше не вмешиваться. Подумайте только, какое тяжелое пятно вы могли наложить на уважаемого всеми человека, на такого труженика, на человека, достойного большего внимания, чем мы ему оказываем.

В это же время ректор, все еще сидевший в уголке библиотечного зала, отрывается от книги,

которую читал, и обращается к своему секретарю с вопросом:

– А какие новости с приездом профессора Глобусова?

– Кроме телеграммы, что он выезжает в конце марта, никаких дополнительных сведений нет, – отвечает секретарь.

– Да, этот человек наделал нам много хлопот.

– Европейская величина, ничего не поделаешь. Надо только удивляться, что между Москвой и Грачевском он выбрал Грачевск.

– Очевидно, хочет быть, как Цезарь, первым в деревне. Пройдемте ко мне в кабинет и проверим окончательно – все ли его требования мы выполнили?

Они уходят из библиотеки. У себя в кабинете ректор достает из ящички письменного стола портфель, из портфеля вынимает дюжину папок, среди которых выбирает одну с надписью «безусловно выполнить», из этой папки извлекает тоже с дюжиной блокнотов, просматривает их и откладывает тот, на котором синим карандашом написано: «первоочередное». Перелистав этот блокнот, он останавливается на странице с надписью «доктор математических наук Глобусов». После этого все остальные блокноты складываются в папку, все папки прячутся в портфель, а портфель – в ящик стола, а сам ящик запирается на ключ. Выполнив всю эту процедуру, занявшую по крайней мере десять минут, ректор приступает к чтению записей.

– Так, – говорит он, одновременно меняя одни очки на другие, – условие первое: квартира – минимум четыре комнаты с ванной, уборной и кладовой; по-видимому, все выполнено, – даем не четыре, а пять комнат. Условие второе: все комнаты окрашены масляной краской, кроме кабинета, который должен быть оклеен темными обоями. И это условие выполнено.

– За обоями в Ленинград ездили, – усмехается секретарь. – Ничего не поделаешь: европейская величина.

– Условие третье: меблировка комнат по прилагаемой описи.

– Выполнено, я сам проверил.

– Хорошо. Условие четвертое: все курсы, которые сейчас ведут сотрудники кафедры, ведет сам профессор сразу же, с другого дня приезда. Тяжелое условие, но делать нечего.

– Ломка курса, среди семестра перемена лектора, – соглашается секретарь. – Хотя это коснется, главным образом, курсов, которые ведет доцент Вергулев, а у него по слухам дело идет не гладко.

– В самом деле, не гладко. Я раза два бывал на лекциях у Вергулева и не остался в восторге. Нет, не остался... Как-то нехорошо идут лекции... Точно



Выпуск студентов физико-математического факультета ВГУ 1941 года

человек не лекцию читает, а добросовестно пересказывает страницы единственно знакомого курса. Нет диапазона, нет глубины. Добросовестный граммофон и только. Так и кажется, что если в учебнике есть отпечатка, то на аудиторной доске непременно появился описка. В чем тут дело, понять не могу. Человек, по-видимому, развитой, подготовленный, а дальше рекомендованного учебника не может отойти ни на шаг. Я читал, правда, не особенно внимательно его кандидатскую диссертацию, – прекрасная работа, которую, если бы развить, можно было бы подать и как докторскую. Сейчас работает над докторской диссертацией и работает, по-видимому, благополучно. Всё как будто бы говорит за то, что мы имеем дело с настоящим ученым, не вызывающим никаких тревог, а как дело касается чтения курса студентам, так это не ученый, а ремесленник.

– Многие профессора не умеют читать курс.

– Согласен с вами. Читают вяло, недоходчиво, читают даже по запискам, но читают глубоко, так сказать, во всю ширь своих знаний. А здесь – и не вяло, и не по запискам, но и не глубоко.

– Декан тоже говорил, но он объясняет это двумя причинами: во-первых, доцент Вергулев читает

первый год на математическом факультете, а во-вторых, тем, что в «Теоретической механике» очень трудно начинающему ученому сказать что-нибудь новое, особенно в студенческом курсе.

– Возможно. Я никак не хочу очернить молодого начинающего научного работника, я хочу только сказать, что мы несколько рано поручили ему работу на математическом факультете. Его следовало поддерживать года три у химиков. Но он имел такие лестные отзывы от декана, что я не мог пренебречь ими.

– Во всяком случае, в деканате нет сведений, что доцент Вергулев допускает ошибки или обнаруживает в чем-нибудь невежество.

– Это говорит только о том, что он хорошо готовится к лекциям, только об этом. Но, во всяком случае, курс будет продолжать доктор Глобусов. Вергулев об этом знает?

– Думаю, что нет.

– Жаль. Это его очень огорчит, но делать нечего. Я прошу вас сегодня же поставить его об этом в известность. Смягчите как-нибудь эту неприятную для него новость, скажите, что это безоговорочное условие Глобусова, что я крайне сожалею, что я с большим огорчением согласился на такую операцию,

словом, позолотите пилюлю так, чтобы ее можно было проглотить. А теперь пойдём дальше. Условие пятое: ассистентская работа по курсам, которые ведет Глобусов, должна быть передана нашему новому работнику... Как его фамилия? Бр... Бр...

– Брагин, Николай Михалыч.

– Правильно. Ну, это легче. Сейчас Брагин чем занят?

– Деканат дал ему две группы у биологов, но главное его занятие сейчас – футбол.

– Пусть пока занимается футболом. Идем дальше: условие шестое – все лекции поставить в расписание с одиннадцати до часу, а у математиков непременно в понедельник и вторник. Я думаю, что это выполнимо?

– Не только выполнимо, но и выполнено уже.

– Тем лучше. Условие седьмое: первыми двумя часами перед лекцией Глобусова должна быть особенно легкая дисциплина. Очевидно, и это исполнено? Хорошо. Условие восьмое. Немедленное печатание курса, с тем чтобы к сессии была отпечатана по меньшей мере первая часть его. Как с этим?

– Договор с типографией уже заключен, за это можно быть спокойным: обеспечено двадцать печатных листов.

– Условие девятое: введение Глобусова в редакцию университетских трудов по всем разделам. Это я уже сделал. Условие десятое и, слава богу, последнее: выше второго этажа Глобусов подниматься не будет и поэтому вся жизнь, связанная с его работой, должна протекать на первых двух этажах. Я думаю, что это выполнимо?

– На первое время это встретит кое-какие затруднения, но я думаю, что выполнимо. Что же, пусть приезжает.

– Пусть.

– А вы раньше знали его?

– Только по трудам.

– Пишет он колоссально много. Один список научных работ и журнальных статей напечатан на сорока страницах.

– Еще бы! Член-корреспондент всех европейских академий наук, очередной кандидат в академии, кандидат на Сталинскую премию. Если бы он поставил не десять, а сто десять условий, я выполнил бы их с не меньшим удовольствием. Ну, вот и всё. Значит, поговорите с деканом: скажите, что я поручил лично вам позолотить пилюлю для Вергулева. Я побаиваюсь, что декан будет сильно препятствовать, но ему придется согласиться: дело, прежде всего дело, а потом уже личные симпатии.

После этого ректор опускает руку в карман брюк, долго роется там, извлекает пачку ключей,

отыскивает нужный ключ, открывает им ящик письменного стола, достает портфель, раскрывает его, возясь при этом с минутой с замком, кладет на стол все находящиеся в нем папки, выбирает одну из них, расшнуровывает ее, прячет в ее недра блокнот и затем продельывает всю эту же операцию в обратном порядке. Операция эта свидетельствует о том, что ректор Грачевского университета имеет чрезвычайно аккуратный и несколько скрупулезный характер. Одновременно это объясняет и то, почему советы университетские под его председательством продолжаются на два часа дольше, чем в тех случаях, когда председательское кресло занимает его заместитель по научной работе.

Как только ректор приступил к своей ворожке с ключами, секретарь направляется в деканат математического факультета для сообщения декану очень неприятного распоряжения о передаче читаемых Вергулевым курсов прибывающему профессору Глобусову.

Декан – человек крайне мрачного характера и довольно-таки неуравновешенный – принимает это сообщение как личную обиду, как какие-то подкопы ректора именно против него, но своего мнения сразу не высказывает, ограничившись на первое время только пословицей:

– Так, с чужого коня среди грязи – долой.

– Противник очень солидный, – замечает секретарь, – доктор, член-корреспондент академий наук, европейское имя.

– Неужели? – деланно удивляется декан. – А что студенту лишняя ломка, это, конечно, – дело маленькое. Хорошо. Передайте ректору, что декан сказал: «хорошо». Хотя хорошего декан в этом ничего не видит. Так и передайте: хорошо, хотя хорошего в этом декан ничего не видит.

– Ректор, между прочим, считает, что академический прогресс у доцента Вергулева шел не настолько гладко, чтобы в виде поощрения можно было оставить за ним курс.

– Всё может быть. Важно, что так считает ректор и никак не важно, что у декана противоположное мнение. Декан уверен, что курс, читаемый Вергулевым, доходит до студента, но не уверен, дойдет ли до студента курс, который с полдороги начнет читать профессор Глобусов. Но мнение декана совершенно неважно для ректора. Хорошо. Так и передайте: «хорошо».

– Ректор не сомневается, что его распоряжение должно огорчить вас и поэтому просил вас поверить, что иначе он никак не может поступить: он вынужден это сделать.

– Ах, вынужден? Неужели? Хорошо. Очень хорошо. – Марья Владимировна, – он обращается к

своей секретарше, – пригласите ко мне доцента Вергулева. Он вернее всего в библиотеке.

Через несколько минут в его кабинет входит Вергулев, нагруженный набитым до отказа портфелем.

– Садитесь, Александр Николаевич, – отрывисто предлагает декан, – хотите стакан чаю? Чайник сейчас закипит.

– Выпью, – отвечает Вергулев, садясь в кресло и ставя свой портфель в ноги, – у вас всегда такой вкусный чай.

– Еще бы! Найдите другого знатока чаю! Сомневаюсь. Марья Владимировна, пожалуйста, два стакана и два бутерброда. Может быть, съедите яйцо?

– Съем. Я сегодня в аппетите.

– Отлично. И по яйцу. А теперь поговорим. Очень неприятная новость. Как вам известно, на днях приезжает новый заведующий вашей кафедрой, доктор математических наук, профессор Глобусов. Так? Хорошо. Допустим, что хорошо.

– Хорошо во всех отношениях.

– Неужели? Ну, ешьте ваш бутерброд, ешьте яйцо, пейте чай. Вот, сахар, кладите по вкусу. Значит, хорошо? Отлично, если хорошо. Но что вы скажете, если я сообщу вам, что Глобусов требует, чтобы все читаемые вами курсы были переданы ему?

Вергулев кладет на стол только что разбитое яйцо и некоторое время сосредоточенно мешает ложечкой свой чай.

– Все читаемой мной курсы? – спокойно спрашивает он.

– Все. И сразу.

– Да... Значит, я останусь без нагрузки?

– Положим, кафедральной нагрузки и для вас хватит, но курсы будет читать он.

Молчание продолжается больше, чем надо.

– Хорошо, – по-прежнему спокойно говорит Вергулев. – Во всяком случае, профессор получит неплохо подготовленную аудиторию. Вряд ли он сможет упрекнуть меня в том, что студенты потеряли со мной время.

– Этого он никогда не скажет. И не посмеет, и не имеет права.

– Я счастлив слышать от такого прямолинейного человека, как вы, подобный отзыв. Теперь я совершенно спокоен. Я отлично понимаю свое положение: важно, что его же поймут и студенты – все свои обязанности, раз я не профессор, я выполнял временно. Жаль, конечно, что конец пришел не после сессии, но не настолько жаль, чтобы видеть в этом какую-нибудь трагедию.

– Очень рад за вас, – искренне отвечает декан, – рад, что у вас такой характер. Вы, очевидно, человек с хорошей философской подкладкой. А я не в вас.

Я пережил бы это с большим надрывом. Вообще, я, может быть, чересчур подозрителен по натуре и мне часто мерещатся подкопы под меня, даже в таких случаях, когда – как окажется после – не было никаких подкопов... Пейте, пожалуйста, чай! Наливайте сами. Вот, скажем, с чаем. Я люблю чай, я не могу жить без чая, я пью его весь день у себя в деканате, мне готовят чай и в физической, и в химической лабораториях, потому что знают, что я люблю чай и считаю, что чай, заваренный в колбе, иль в петирте, иль в мензурке – гораздо вкуснее чая, заваренного в чайнике, ну и что же? Какое это имеет отношение к моей работе как декана, как профессора, как заведующего кафедрой, как научного работника, как общественика, наконец? Какое? До сих пор я думал, что никакого. И что же я сам своими собственными ушами слышал? А? Председатель нашего комитета профессионального союза работников высшей школы осмелился публично, в коридоре, где его слышали и студенты, выразить неодобрение, что я в рабочее время чай пью. Я его спрашиваю: а вы в рабочее время курите? Лепечет: курю. Ну, говорю, – курение в рабочее время в тысячу раз хуже, вреднее, гаже, чем питье чая. Вы думаете, что он понял, что мой ответ дошел до него? Ничего подобного. Хуже! Говорит: я отлично знаю – успеваемость студентов снизилась на полпроцента потому, что декан пьет в рабочие часы чай; работа студенческих кружков оставляет желать лучшего потому, что декан пьет чай... А чай я все равно буду пить и в рабочие, и в нерабочие часы. А вы думаете, что ректор далеко ушел от председателя? В декабре приезжал к нам народный комиссар просвещения, – при вас же это было.

– Конечно, при мне, я помню.

– Ну да... Наливайте еще стакан. Марья Владимировна, голубчик, дайте нам еще по бутерброду и обратите внимание, что сегодняшняя колбаса не высшего качества... Так вот, накануне приезда заходит ко мне сюда ректор, я предлагаю ему чай, – отказывается. Я пью и жду, что скажет. – Я прошу, – говорит, – в виде личного одолжения, на время пребывания народного комиссара, так сказать, убрать этот домашний вид вашего кабинета. Домашним видом он называл столик, скатерть, тарелочки, вилки, чайник, словом, все то, что находилось у меня под рукой. – Я, говорит, боюсь, что на высокого гостя это произведет неприятное впечатление. Конечно, я решительно ответил отказом. А знаете, что было? Этот высокий гость зашел ко мне, выпил два стакана чая, съел четыре бутерброда с икрой, – у меня была тогда чудесная икра, – и ушел от меня в прекрасном настроении. А в частном письме к ректору он в феврале передал мне привет. Дословно стояло в письме

так: мой искренний привет вашему декану, угостившему меня таким вкусным чаем, что я до сих пор помню его. Ну после этого ректор меня не трогает. А вот председатель комитета начинает кусаться.

Произнося этот монолог, декан с каким-то особенным по энергии натиском запускает зубы в хлеб с куском колбасы и громко жует оторванный кусок мяса.

– Так, – говорит он, прихлебывая с ложки крепкий чай, – но за вас я огорчен и чуть-чуть успокоился только сейчас, увидев, что вы принимаете это без боли.

– О, нет, – спокойно отвечает Вергулев, – я вполне отдаю себе отчет в происходящем и не имею ни к ректору, ни к вам, ни, самое главное, к Глобусову никаких претензий. Другое дело, если бы мне сказали, что я должен передать чтение курса ну... Ну, например, нашему футболисту Брагину...

– Занятный мальчик, – говорит с улыбкой декан, – мне он нравится.

– Я тоже симпатизирую ему. Многообещающий юноша.

– Далеко пойдет! Недаром Глобусов его тянет. Я знаю Глобусова, – если он кому-нибудь покровительствует, значит по заслугам. Вы, конечно, знаете, что Брагина мы взяли по рекомендательному письму Глобусова?

– Я слышал. Мне Брагин как-то говорил, что он вообще близок к семье Глобусова.

– Родственник?

– Мне показалось, что нечто вроде воспитанника.

– А! Вообще, мальчишка мне очень нравится. И подумайте только, со школьной семьи, в первый раз начал сам работать со студентами, а отзывы уже имеет самые восторженные.

– Я искренне рад за него. И поэтому очень огорчаюсь, что он разменивается на футбол, спектакли, спорт... Всему должна быть своя мера. Нехорошо, когда у вас пугается впечатление, с кем вы имеете дело: с ассистентом по механике или инструктором по лыжному спорту. Наконец, это мешает его академической работе: ясно, что ему некогда готовиться к занятиям. Хорошо, что он любую задачу по механике решает с налёта в уме, но ведь налёт и ум – такие вещи, которые могут когда-нибудь подвести.

Эту тираду Вергулев произносит в явно благожелательном и дружески-снисходительном тоне: так, пожалуй, говорил бы отец о своем любимце сыне, чуть-чуть огорчающем своими детскими шалостями мудрого и требовательного родителя.

– Да, – кончает он, – лишь бы мальчик не скатился окончательно в физическую культуру! Этого я очень боюсь.

– В наше время, когда я был аркадским принцем, – серьезно говорил декан, наливая себе новый стакан и приглашая глазами Марью Владимировну поставить остывающий чайник под электрический ток, – в наше время было очень жесткое изречение: падающего толкни.

– Я слышал это иначе: падающего поддержи.



Студентки ВГУ в новом общежитии. 1939 год

– Ошибаетесь: падающего толкни. Ну так вот, если мальчик начал бы вдруг падать, мы с вами позаботимся, чтобы кто-нибудь не толкнул его.

– Безусловно. Я сейчас принимаю все меры к тому, чтобы убедить его переселиться из общежития на мою квартиру и очень прошу вас, если вы хотите ему добра, как-нибудь при случае посоветовать принять мое предложение. У меня ему будет очень удобно и тихо.

– С большим удовольствием, с наслаждением!

В это время в коридорах начинают трещать звонки, и мертвая тишина каменного мешка оглашается гулом нескольких сирен молодых голосов.

– Перерыв... – говорит, поднимаясь Вергулев. – С вашего разрешения я пошел. Благодарю вас за чай, за ваше хорошее отношение ко мне.

– Очень рад быть полезным, – отвечает декан и жмет руку Вергулева так крепко, что Вергулеву становится ясным, что декан в это пожатие вкладывает особый смысл, как бы договаривая без слов недосказанные слова сочувствия.

Первый, кого Вергулев встречает в коридоре, это ассистент Брагин. Молодой человек одет в спортивный костюм, и его лицо сияет так, как только может сиять лицо самого жизнерадостного юноши. Его каштановые чуть вьющиеся волосы капризно выбиваются из-под вязаной шапочки и красиво оттеняют здоровую краску щек. Его глаза смеются счастливым смехом человека, жизненный путь которого так легок, прекрасен и завиден, что можно голову прозакладывать, ручаясь, что нету в мире силы, способной омрачить этот чудесный путь.

– А мы только что говорили с деканом о вас, – приветливо говорит Вергулев, и в его глазах блестит что-то особенно теплое.

– Обо мне? Не пугайте! – смеясь, отвечает Брагин.

– Декан очень доволен вами.

– О! Здорово. Благодарю вас!

– Меня за что? Декан вас хвалил, я поддакивал, вот и все мое участие. А вы что собираетесь сейчас делать?

– Что? Знаете, вы застали меня врасплох с этим вопросом, – я и сам не знаю еще, что я хочу сейчас делать.

– Занятий у вас сейчас нет?

– Нет, сегодня я свободен.

– Тогда я хочу сделать вам заманчивое предложение: вот в этом портфеле хранится, говоря по секрету, два килограмма чудесной бараньей ноги.

– Люблю баранину.

– А я ее артистически готовлю. Предложение такое: вы отправляетесь со мной. В мое, так сказать,

скромное жилище и растапливаете печку, готовите посуду, накрываете на стол, а я тем временем священнодействую по превращению этого куска ноги в замечательно вкусное жаркое, которое мы подадим на стол с поджаренным, чуть-чуть хрустящим картофелем.

– Ой, это соблазнительно до того, что я готов на любое преступление. Скажите только, кого я должен убить за это, и ваше распоряжение будет выполнено в одну минуту.

– Очень рад, что вы согласны. Кроме того, исполнится мое искреннее желание, чтобы вы побывали у меня, – может быть, вам понравится, и вы примете мое предложение начать совместную жизнь двух принципиальных холостяков.

– Предложение принято, как пишут в протоколах, единогласно, – отвечает Брагин. – Но что касается принципиальных холостяков, то прошу исключить меня из числа кандидатов.

– Неужели вы уже собираетесь жениться?

– Я не собираюсь, но я по натуре сторонник семейной жизни. Правда, я не могу похвастаться, что рос в своей семье. Я рос исключительно в чужих семьях и, может быть, даже поэтому очень часто мечтаю о своей семье.

– А «она» – уже есть?

– Скорее всего – нет.

– Значит, все-таки есть?

– Нет... Та, на которой, я может быть, женился бы не пойдет за меня... А может быть, если бы и пошла, то сам я бы заколебался... Это, так сказать, дерево не по моему плечу.

– Наша, грачевская?

– Нет.

– А наши грачевские девушки нравятся вам?

– Я отвечу вам откровенно так: пока московские девушки мне нравятся больше. Но это, конечно, может и перемениться.

– Однако, – замечает Брагин, когда они, уже выйдя на улицу, начинают спускаться под гору, – я начинаю бояться, что мы шествуем в порядочные-таки трущобы.

– Во всяком случае, это только грачевские, а не петербургские трущобы. Все эти улочки до революции имели такие своеобразные, колоритные названия, что даже жалко, что теперь у них другие имена. Сейчас мы идем по Поповому рынку, а дальше пойдут Грачиный Лог, Большие ямки, Грязный переулок, Кукушкино Гнездо, Обдираловка...

– Воображаю, как это было приятно жить на Обдираловке, – вздыхает Брагин, – а особенно возвращаться домой ночью.

– Не знаю, я здесь раньше не жил, но в этой Обдираловке такие живописные халупки, так много зе-

лени, что летом жить там неплохо, – отвечает крайне мягко Вергулев.

Примерно через двадцать минут они подходят к полуразрушенным непогодой и временем каменным монастырским стенам. Там, где раньше были тяжелые дубовые ворота, теперь зияет сводчатая дыра, причем состояние свода такое, что Брагин считает нужным бросить:

– Это прямо ворота «Пронеси, Господи!»

– Не бойтесь, еще двадцать лет простоят.

– Бояться я не боюсь, но всё же приятнее видеть над головой небо, а не сыплющиеся на тебя кирпичи.

Монастырских построек сохранилось немного: стоит старая церковь, старый двухэтажный корпус, в котором раньше жили монахи, а сейчас – железнодорожные рабочие, несколько каменных сараев, большей частью без крыш и с открытыми дверями, два маленьких одноэтажных дома, в одном из которых живет Вергулев, вот и всё, что время и люди сэкономили в монастырской ограде. Несколько вдали от домов приютилось маленькое монастырское кладбище с покосившимися каменными памятниками, с остатками железных решеток. Ни одного деревянного креста нет – их давно сожгли. Целы, да и то очень условно, только могильные плиты, растрескавшиеся, сползшие в сторону. Ни на одной из них нельзя прочесть надписей: всё стерли и дожди, и солнце, и люди. Кто здесь спит – неизвестно никому.

Сейчас всё это занесено глубоким снегом, – метели бушевали несколько дней тому назад, – а летом здесь растёт бурьян, густой и чуть ли не в человеческий рост. В жилых домах монастыря растёт целая армия детей, но и это жизнерадостное поколение как-то инстинктивно обегает монастырскую усадьбу и все свои игры и побоища выносят за монастырскую ограду, точно чувствуют, что не здесь, не в царстве сна и разрушения надо набираться сил и разряжать свою кипучую энергию. Поэтому и летом, и зимой внутри ограды стоит какая-то торжественная тишина большого кладбища: надо быть действительно равнодушным к этой тишине отмирания, чтобы жить за этой оградой. Поэтому население монастырских домов меняется непрерывно: все, кто могут переменить квартиру, делают это с большим удовольствием и, раз уехав отсюда, не возвращаются больше никогда. Дыхание смерти сказывается здесь даже в том, что в усадьбе нет ни одного дерева, – прежде они когда-то были, но все приняли преждевременную кончину в печах замерзшего зимой окрестного населения, даже, наконец, в том, что на всю усадьбу нет ни одной собаки, ни одной кошки, без чего, как известно, в провинции не мо-

жет обойтись ни одно жильё. Люди, крысы, мыши, клопы, мухи и тараканы – вот и всё то живое, что можно найти в этом отмирающем уголке грачевских трущоб. И странным, на первый взгляд, неестественным явлением, обманом глаз, полным диссонансом является наличие нескольких проводов, по которым в жилые дома идет электрический ток для освещения и телефонная связь для радиоточек. Внешний вид всех построек ужасен: штукатурка давно отбилась, и красный кирпич далеко уже успел сделаться серым и грязным, оконные переплеты и стекла почернели от сырости и старости; три четверти окон не раскрывается круглый год, так как каждое прикосновение к ним угрожает тем, что деревянные части рассыпятся в порошок, а стекло без звона разобьется на тысячи пылинок, из которых ни одна не способна заиграть на солнце. Так же мрачны дверь, крыльца, крыши, словом, все мрачно, все внушает искреннее желание бежать отсюда без оглядки.

Некоторым исключением, по закону «нет правил без исключения», является внутренняя часть флигеля, в котором живет Вергулев. Правда, и здесь окна заделаны железными решетками, правда, и здесь потолки низки, а печи громадны, но все-таки здесь как-то все сохранилось, спаслось от тлена: на стенах висят довольно целые обои, прикрытые большими картами, развешенными Вергулевым в тех местах, где обои чуточку сдавали, полы сохранили еще следы покраски, внутренние стороны окон и двери еще производят впечатление белых, а через окна можно видеть без опасения потерять на всю жизнь зрение.

Вергулев занимает три комнаты. В одной из них его кабинет и спальня, в другой – столовая с остатками сборной гостиной мебели; третья комната с окнами на разрушенную стену, за которой открывается панорама на реку и заречные луга, пустует и ее Вергулев и предлагает уступить ассистенту Брагину. Кроме этих трех комнат во флигеле находится кухня и еще одна комната с двумя входами: одним через кухню, а другим – со двора, с отдельным коридором. В этой комнате почти одновременно с Вергулевым поселился какой-то рабочий или грузчик – точно неизвестно, – по фамилии Губарев, – человек очень непопулярный в усадьбе: он живет нелюдимым, его часто неделями не бывает дома, он ни с кем не сходится, никто не видел, чтобы он с кем-нибудь первым заговорил. Если случайно его останавливали, он угрюмо опускал голову и смотрел в землю, отвечая грубо, отрывисто и сразу же уходил. Из окна его комнаты очень редко светил огонек и никогда на кухне Вергулева ничего не варилось и не жарилось



Заседание партбюро ВГУ. 1939 год

для стола этого нелюдима. Человек этот был примерно одного роста с Вергулевым, значит, рост его был выше среднего, на голове он носил целую шапку давно нечесанных черных волос, а все его лицо было закрыто бородой и усами. Борода была курчавая, грязная и росла всюду, где только может расти; свободными от волос на первое впечатление были только нос и глаза, цвета которых не видел никто и никогда: так упорно смотрели эти глаза вниз.

– Ну, как вы находите мое жилище? – весело спрашивает Вергулев, когда он и его гость, сняв верхнюю одежду, вошли в кабинет. – Если не особенно привлекательно снаружи, то внутри, честное слово, не плохо?

– Правда не плохо, – соглашается Брагин.

– Это моя рабочая комната. Как видите, довольно-таки скромно, но все необходимое к вашим услугам.

– У вас даже уютно.

– Очень рад слышать это. Пройдите теперь в комнату, в которой я очень хотел бы видеть вас ее хозяином.

И эта комната нравится Брагину.

– Подумайте хорошенько, – советует Вергулев, – и переезжайте.

– Переехать мне одна минута. Один чемодан и постель, вот и все мое имущество.

– Переселяйтесь, переходите, перевозите, переносите, выбирайте любой подходящий глагол, но доставьте мне удовольствие.

– Подумаем, – шуточно отвечает Брагин. – Конечно, – замечает он, – единственным недостатком

является дальность. Все-таки очень далеко от центра. Хоть бы трамвай ходил поблизости. Ну, двор поддулял... Хотя это мелочь, с которой можно помириться. А комната мне нравится. И вся ваша квартира произвела неплохое впечатление.

– Подумайте!

– Обязательно подумаю.

– Летом здесь очень хорошо.

– Летом-то я вообще не живу в городе. А зимой здесь можно неплохо жить.

– Печи исправные, топка требует мало, так что мерзнуть не будем. Сосед у нас единственный, но и того почти никогда не бывает дома.

– Да, это очень хорошо. Я боялся, что будет много хуже.

– Надо было раньше прийти, и мы бы уже жили вместе. Ну, не будем терять драгоценного времени. Прощу вас в кухню. Приступим к торжественному акту подготовки к пиршеству, которое надо сделать на славу.

Кухня тоже нравится Брагину. Словом, пока что Брагину нравится всё. Может быть, это объясняется его отличным настроением, а может быть, он достаточно вежлив для того, чтобы не высказать своего настоящего мнения в его неприкрытой наготе. Но что безусловно, безоговорочно нравится Брагину, так это его участие в приготовлении обеда. Он с искренним удовольствием колет дрова, растапливает печку, моет зелень, чистит картофель. Словом, принимает самое деятельное участие в помощи Вергулеву, священнодействующему за кухонным столом. Талант Вергулева по кулинарной части не подлежит

никакому сомнению: баранина обработана по всем правилам искусства, нашпигована розовым салом, посажена на железный лист и предоставлена власти огня. Одновременно готовится украинский борщ, препарируется для закуски селедка, режутся лук, соленые огурцы, появляются на тарелках маринованные грибы, словом, готовится пиршество на славу. Наконец, на угли ставится большой чайник, который закипает секунда в секунду именно тогда, когда надо заваривать чай.

И вот начинается пир. Хозяин и гость выпивают по стопке водки, закусывают ее селедкой и грибами и затем приходят к заключению, что полезно выпить еще по одной стопке. Малороссийский борщ с салом так вкусен, что оба гастронома съедают по две тарелки, причем в перерыве между тарелками выпивают еще по одной стопке водки. Затем на столе появляется баранина, прямо на железном листе, румяная, блестящая, плавающая в собственном соку, окруженная целым лесом божественно поджаренного картофеля. Трудно съесть весь кусок баранины, трудно съесть весь картофель, но и хозяин, и гость чуть-чуть набираются сил, и от баранины остается только одна кость. Послеобеденный чай оказывается весьма кстати. Надо выпить, по меньшей мере, по три стакана, чтобы почувствовать первое удовлетворение. Наконец, всё кончено. Молодые люди закуривают по папиросе и начинают полегонечку дремать в своих креслах. Уже давно стусились сумерки, но электричества зажигать еще не хочется. Хочется только подремать после такого сытного обеда. И они сидят, занятые каждый сам собой, и отдыхают.

Проходит не меньше часа, пока Брагину удается преодолеть оцепенение. Он встает, потягивается и говорит:

– Здорово... Как говорится: дай боже и завтра тоже...

– А это зависит только от вас. Переезжайте, и это может повторяться каждый день.

– Каждый день? Нельзя... После такого обеда вечер пропал. А я на сегодняшний вечер рассчитывал.

– Привыкнем, и другие вечера уже не пропадут.

– Привыкну ли я – не знаю, а сейчас у меня только одно желание: спать.

– Э, нет! – решительно протестует Вергулев, на лице которого не видно ни следа усталости, ни желания отдохнуть. – Вы такой дорогой гость, что ваш первый визит ко мне нельзя кончить так прозаически. Уснуть мы всегда успеем. А пока мы с вами разопьем бутылочку замечательного кавказского винца. Я вывез прошлый год несколько бутылок и

одну из них сберег на какой-нибудь исключительный вечер.

– Вы мне льстите, – отвечает Брагин, но по его голосу чувствуется, что ему очень приятно такое внимание.

Они переносят маленький круглый столик к ярко пылающей печке, около которой лежит большая охапка мелко нарубленных сухих дров и, поместившись лицом к огню, приступают к вечернему кайфу за стаканом вина. Электрическая лампа закрыта абажуром и почти не освещает уголок у печки. Кроме вина, достаточно крепкого и хмельного, – Брагин от него постепенно пьянеет все больше и больше, – на столике лежит пачка фабричного бисквита.

– Мне у вас всё больше начинает нравиться, – говорит растроганно Брагин, – честное слово, у вас хорошо. И вы, по всем признакам, парень славный. Извините, что я вас так называю, но в университете вы производили впечатление более сухого человека. Вы правы: что такое лишний километр! Если бы не ночь, то я сейчас бы сходил за чемоданом и постелью и переселился бы к вам.

– Переселитесь завтра, и мы прекрасно проживем. Я не сомневаюсь, что мы с вами сойдемся характерами.

– Скажите вы мне только одно: сколько вы зарабатываете? Я это спрашиваю только потому, что если подсчитать, то наш съеденный обед стоит по меньшей мере половину моей месячной зарплаты. Вы человек богатый.

– О, далеко не богатый, – кроме университета я нигде не работаю, а сегодняшний обед не в счет: мясо я получил со склада по твердым ценам, а все остальное не так уж дорого.

– А я думал уже, не зарезали ль вы какого-нибудь кассира, – шутит Брагин и сам смеется над своей шуткой.

– Пока еще не зарезал, случая не было, – в тон отвечает Вергулев. – Как вино? Нравится вам?

– Я плохой судья, так как в винах ничего не понимаю. Пью, – оно мне нравится, вот и все, что я знаю.

– Будем пить. Есть еще бутылочка. Давайте чокнемся.

– За что бы нам выпить?

– За ваше решение переехать ко мне на жительство.

– Согласен. Итак, за нашу будущую совместную жизнь!

– За нашу будущую совместную жизнь, – поддерживает Вергулев.

Брагин выпивает залпом полный стакан вина, и Вергулев не может удержаться от улыбки при виде

такого варварского обращения с драгоценным напитком, который в руках знатока был бы использован значительно по-другому.

– Смотрю я на вас, – говорит задумчиво Вергулев, – и думаю: вот вы, талантливый молодой человек, вас оставляли при Московском – при Московском! – университете, и вдруг вы едете в провинцию, в наш маленький университет. Что вас заставило решиться на такой шаг?

– Что? – чуть заплетающимся языком спрашивает Брагин. – Что?.. Нет, пока я не могу вам этого сказать... Позже, когда мы поближе сойдемся, я, может быть, и скажу, а пока я ничего не скажу... Позвольте мне только узнать, почему вы такого плохого мнения о Грачевском университете? Мне он очень нравится. Хороший университет.

– Но ведь Московский лучше?

– Лучше.

– Если бы я мог работать в Московском университете, я бы отдал за это десять самых лучших лет моей жизни.

– Неужели? Вот странно, – искренне удивляется Брагин. – Чем же вам здесь плохо?

– Если говорить серьезно, то мне здесь плохо. Почему? – я, так же как и вы, пока не могу вам сказать, но если бы мне можно было уйти отсюда, я ушел бы. Даже сегодня я получил большое, горькое оскорбление, получил его неожиданно, так сказать, из-за спины, и я должен был его пережить, должен был сделать вид, что я очень равнодушен... Да... Скажите, вы хорошо знаете профессора Глобусова?

– Еще бы. Я так сказать, живу и купаюсь в лучах его величия. Я его протеже, – кажется, есть такое слово?

– Расскажите мне о нем что-нибудь.

– Бросьте, успеете узнать. Приедет, увидите, узнаете.

– Однако, – смеется Вергулев, – вы человек довольно-таки скрытный, вы отказываетесь ответить мне на второй вопрос.

– Ничего подобного. Просто я опьянел, и у меня сейчас язык такой тяжелый, что нет никакого настроения говорить о таких высоких материях, как Глобусов. Вот если бы вас интересовал спорт, то я смог бы рассказать вам с большим удовольствием много интересного...

– Спортом я интересуюсь мало.

– Напрасно. Спортом надо интересоваться прежде всего и раньше всего.

– Вы своеобразный молодой человек: выбрали, и я думаю по призванию, научную работу и совершенно ничего не хотите писать и вместо того, чтобы писать, писать и писать, занимаетесь лыжами, коньками и читаете, как говорят, увлекательные лекции по футболу. Скажите, написали ль вы хоть строчку?

– Написал и не одну.

– Наконец-то мне легче стало! Но где эти ваши строчки? Почему о них никто не знает?

– Где они? – Брагин вынимает из бокового кармана пиджака толстую записную книжку в коленкором переплете, – вот они, эти строчки, мои математические этюдики... Много интересного здесь можно найти, очень много...

– Разрешите взглянуть, – просто спрашивает Вергулев и даже неосторожно протягивает руку.

Но сильно захмелевший Брагин не замечает этого и рассеянно смотрит в свой пустой карман, крепко держа книжку в правой руке.

– Я говорю, – повторяет Вергулев, – разрешите посмотреть вашу книжку.

– Обыкновенная рублевая книжка, издание ленинградской фабрики, в клеточку и на неважной бумаге, – отвечает Брагин и прячет книжку в карман. – Ну а почему никто не знает о моих этюдах, то на это я и не знаю что сказать. Думаю, что когда-нибудь кто-нибудь узнает. А занятных вещей в ней порядочно...

Вергулев молча наполняет пустой стакан собеседника, для чего предварительно откупоривает вторую бутылку еще более хмельного вина. Брагин берет в руки стакан и почти совсем заплетающимся языком говорит:

– Пью за здоровье некоей девушки.

– Не имею счастья знать ее, но охотно присоединяюсь к вашему тосту, – они чокаются, – и желаю, чтобы эта девушка почувствовала, что мы сейчас пьем за ее здоровье.

– О, нет, пусть лучше не чувствует! Пусть лучше думает, что я о ней ни разу не вспомнил. Ну, что же, скажем прямо, я уже вдребезги пьян. Если бы вы мне разрешили, то я с большим бы удовольствием перешел на горизонтальное положение.

– С большим удовольствием помогу вам устроиться на ночь, – отвечает Вергулев, и с его поддержкой Брагин медленно шествует к дивану, на который валится, точно подрезанный.

Через минуту он уже спит крепким, пьяным сном.